

Взгляды В. А. Жуковского на поэзию¹⁾.

Професоръ элоквенціи В. К. Третьяковскій считалъ поэзію «утѣшной и веселой забавой», а поэтическія произведенія «фруктами и конфектами на богатый столъ по твердыхъ кушаніяхъ». По словамъ Державина, Фелицѣ поэзія «любезна, пріятна, сладостна, полезна, какъ лѣтомъ *вкусный лимонадъ*». Стало быть, и въ вѣкъ Екатерины поэзія представляется «утѣшной и веселой забавой», въ противномъ случаѣ, Державинъ не назвалъ бы ее *вкуснымъ лимонадомъ*.

«Веселымъ искусствомъ»—веселой забавой была поэзія и въ эпоху трубадуровъ въ Провансѣ. Но провансальское «веселое искусство» было не только свѣжею, живою струею въ жизни обитателей замковъ и бурговъ, но и однимъ изъ сильныхъ культурныхъ двигателей средневѣковья. Рыцарская поэзія трубадуровъ не народна, но она шла рука обь руку съ жизнью. Провансальская пѣсня, воспѣвающая, главнымъ образомъ, условные чувства, блестяща, жива и оригинальна. Она явилась результатомъ вѣкового исторического культурного труда и имѣла корни въ жизни общества, выразительницей идеаловъ котораго и служила. Эта пѣсня имѣла талантливыхъ представителей—пѣвцовъ съ опредѣленнымъ міросозерцаніемъ—религіознымъ и политическимъ; къ голосу такихъ пѣвцовъ прислушивалось общество. Пѣвецъ нерѣдко давалъ своею лирою тонъ, высказываясь по всѣмъ вопросамъ, волновавшимъ его родину—религіознымъ, политическимъ, соціальнымъ, и часто шелъ въ разрѣзъ съ общественными теченіями. Его пѣсня была свободна; онъ управлялъ ею и въ большинствѣ случаевъ—«минута ему повелитель». Сравнительно рѣдко средневѣковый пѣвецъ, начиная пѣть, предлагалъ вопросъ: «о чёмъ же властитель воспѣть повелить пѣвцу на торжественномъ пирѣ»? ²⁾).

1) Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи совѣта Императорскаго Харьковскаго университета и историко-филологического Общества 23 апрѣля 1902 г.

2) Сирвенты знакомятъ насъ съ политическими и общественными идеалами трубадуровъ. Ими пользовались средневѣковые пѣвцы для различныхъ цѣлей. Словамъ трубадуровъ—авторовъ сирвентовъ—придавали большое значеніе, прислушивались къ нимъ; съ ними средневѣковому обществу приходилось считаться: сирвенты представляли извѣстную силу и до нѣкоторой степени играли роль нашей прессы. Кроме политическихъ, были сир-

На этой свободной пѣснѣ воспитались выдающіеся поэты Возрожденія, между прочимъ, и Петрарка—отецъ новой западно-европейской лирики. Возрожденіе расширило горизонты европейского общества, указавъ ему на классическую древность, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и сузило эти горизонты, отвлекши вниманіе общества отъ родного прошлаго. «*Studia Humaniora*» на долгое время заслоняютъ все средневѣковое, между прочимъ, и литературу, богатую выдающимися памятниками.

Во Франціи постепенно вырабатываются принципы нового искусства, нового литературнаго направленія, такъ называемаго «ложно-классическаго». Но и въ новое время, при смѣнѣ старыхъ идеаловъ, переставшихъ удовлетворять запросамъ болѣе «гуманнаго» поколѣнія, поэзія въ сущности остается тѣмъ же *веселымъ искусствомъ*, тою же *утѣшнной и веселой забавой*, что и въ средніе вѣка, съ тою только разницею, что въ болѣе «грубую» эпоху это искусство было оригинальнымъ, въ вѣкъ господства ложно-классическихъ теорій—подражательнымъ, не имѣющимъ ничего общаго съ литературнымъ прошлымъ народа. Если раньше жизнь была ключемъ въ веселой и беззаботной пѣснѣ провансальца, если старые сирвенты были «сотканы изъ искренней скорби и гнѣва», а пѣсни Вальтера фонъ-деръ-Фогельвейде были полны религіознаго энтузіазма, горячей любви къ родинѣ и дышали искреннимъ чувствомъ; если въ канцонахъ бродячихъ пѣвцовъ слышались наивныя, простодушныя и откровенныя жалобы на скучныхъ бароновъ, мало платившихъ за пѣсни, то въ новое время въ поэзіи, занимавшей досуги болѣе «просвѣщеннаго», сравнительно съ средневѣковымъ, общества, нѣть жизни и чувства, а поэты—панегиристы и одослагатели являются, пожалуй, въ большей степени искательными, чѣмъ неграмотные и полуграмотные средневѣковые министрели.

Поэтическое уложеніе Буало и ложно понятія правила поэтики Аристотеля породили специальную литературу. Произведенія ложно-классической школы изящны, написаны по строгому плану, но сухи и безжизненны. Дворъ, отели и отелики были цѣнителями поэтовъ и ихъ пѣснопѣній. Носителями поэзіи, не *народной*, а *космополитической*, въ большинствѣ случаевъ, бывали сочинители стиховъ, не тѣ пѣвцы, о которыхъ можно спросить: «но гдѣ-жъ утѣшитель, плѣнитель сердецъ, который могъ бы душу растрогать» и пѣть о всемъ, «что святого есть въ мірѣ, что душу волнуетъ, что сердце манитъ». Пѣсенъ такихъ сочинителей «не зарождала души глубина». Да и трудно было видѣть плѣ-

нителей сердцъ и утѣшителей въ писателяхъ, которые «дѣлали стихи», которые пѣли не тогда, когда имъ пѣлось—«wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet»¹⁾, а когда то или другое событие, радостное или веселое, требовало пѣсни, оды, сонета! Много ли искренности, вдохновенія можно было ожидать отъ «дѣлателя стиховъ», который, настроивши лиру на торжественный ладъ, воспѣвалъ будущія побѣды и предстоящіе триумфы?

Сухостью и отсутствиемъ художественного чувства вѣеть отъ такой академической поэзіи во Франціи и въ Германіи, отъ поэзіи англійскихъ сенетистовъ.

Правда, раздавались иногда голоса въ обществѣ противъ этой ненациональной, безжизненной литературы, но они терялись въ общемъ хорѣ поклонниковъ *чремяющей* поэзіи.

Изыдные и чопорные посѣтители Мольеровской Селимены были не мало изумлены, когда Мизантропъ—Альцестъ, протестуя противъ «le méchant goût du siècle», дерзнулъ продекламировать передъ образованной публикой, воспитанной и элегантной, простую, незатѣйливую по формѣ, но полную свѣжаго, искренняго чувства народную пѣсенку.

Si le roi m'avait donné
Paris sa grand'ville,
Et qu'il me fallût quitter
L'amour de ma mie,
Je dirais au roi Henri:
Reprennez votre Paris,
J'aime mieux ma mie, oh gay!
J'aime mieux ma mie²⁾.

И Мизантропъ, отдавшій предпочтеніе пѣсенкѣ «грубыхъ отцовъ» передъ слашавыми сонетами, лишенными поэтическихъ образовъ и мыслей, составленными изъ однихъ громкихъ, галантныхъ словъ и беззастѣнчивыхъ комплиментовъ по адресу дамъ, сталъ въ глазахъ салонныхъ кавалеровъ еще большимъ чудакомъ.

Эта «пудренная» пітика, какъ выражался Пушкинъ, ограничивала область поэтическаго творчества и замыкала дѣятельность поэтовъ въ извѣстныя, условныя рамки. За соблюдениемъ строгихъ правилъ пітики слѣдилъ «степенный» Буало, «французскихъ риомачей суровый судія»³⁾ не только при жизни, но и послѣ смерти: такъ сильно было его обаяніе. За весьма немногими исключеніями, поэты должны были съ боль-

1) Goethe. Der Sänger.

2) Le Misanthrope, Acte I, scène II.

3) Пушкинъ, Черновые наброски.

шимъ трудомъ прокладывать себѣ путь къ славѣ; положеніе ихъ въ обществѣ не только не улучшилось, сравнительно съ положеніемъ носителей средневѣковой поэзіи, наоборотъ—ухудшилось! Цѣнились, главнымъ образомъ, панегиристы, одослагатели, пѣвцы побѣдъ, торжествъ, фѣйерверковъ; пѣвцы *героевъ, но не людей*. Въ серьезныхъ поэмахъ не было мѣста людямъ; строгій Буало изгонялъ изъ поэмъ «conquérant vulgaire», будучи глубоко убѣжденъ, что герой долженъ быть «en valeur éclatant, en vertus magnifique»¹⁾). Въ XVIII в., на ряду съ традиціями Буало, царили принципы, проводимые проповѣдникомъ «изящнаго» вкуса Батте²⁾ находившаго въ природѣ *не все изящныи*, и поклонника *приличий* Лагарпа. Къ большинству изъ поэтовъ этой школы могутъ быть примѣнены слова Пушкина:

«Постойте! напередъ узнайте, чѣмъ душа
У васъ исполнена—прямымъ-ли вдохновеніемъ»³⁾...

«Въ началѣ XVIII столѣтія французская литература обладала Европою. Она должна была имѣть на Россію долгое, рѣшительное вліяніе»⁴⁾). Еще до Грибоѣдовскихъ княженъ, восторженно восклицавшихъ: «Ахъ, Франція! нѣть въ мірѣ лучше края!», совѣтница въ «Бригадирѣ» приходитъ въ восторгъ отъ счастья, выпадающаго на долю ея дочери: «Ахъ, сколь счастлива дочь наша! Она идетъ за того, который былъ въ Парижѣ. Ахъ, радость моя! Я довольно знаю, каково жить съ тѣмъ мужемъ, который въ Парижѣ не былъ»⁵⁾.

Въ Россіи въ эту эпоху поэты не занимали, да и не могли занимать виднаго положенія въ обществѣ, которое еще не доросло до сознанія, какъ велико значеніе поэзіи и какъ важенъ голосъ искренняго, свободнаго пѣвца, «признавшаго надъ собою высшую волю», но не пѣвшаго по заказу⁶⁾). Въ «Челобитной Россійской Минервѣ» отъ россійскихъ писателей, фонъ-Визинъ указываетъ, на то положеніе, которое занималъ въ то время писатель въ обществѣ; состоялось, вѣдь, опредѣленіе—«всѣхъ упражняющихся въ словесныхъ наукахъ-къ дѣламъ не употреблять, всѣхъ таковыхъ при дѣлахъ находящихся отъ дѣлъ отрѣшать»⁷⁾. Это постановленіе вызвало ходатайство со стороны писателей,

¹⁾ L'art poétique, chant III.

²⁾ Batteux—авторъ «Cours de belles lettres ou principes de la littérature» (1740—1750), «Les beaux arts réduits à un même principe».

³⁾ Черновые наброски.

⁴⁾ Аиненковъ, Пушкинъ. Материалы, стр. 257.

⁵⁾ Бригадиръ, 1-е явленіе.

⁶⁾ Извѣстно, что еще Пушкину пришлось получить заказъ—написать стихотвореніе на прѣздѣ призыва Оранскаго.

⁷⁾ Собесѣдникъ. IV. 7—10. См. Тихонравовъ, сочиненія т. III, ч. 1, 1898, стр. 125

просившихъ императрицу ихъ «яко грамотныхъ людей по способностямъ къ дѣламъ употреблять, дабы они служа россійскимъ мужамъ на досугѣ, могли главное жизни ихъ время посвятить на дѣло для службы»...

Въ XVIII вѣкѣ у насъ на Руси лирическая поэзія почиталась «искусствомъ писать похвальные стихи, особенно оды... Описывались симъ родомъ поэзіи торжества, радости, похвалы мужей и другихъ вѣщѣй, временъ, праздниковъ, публичныхъ мѣстъ и проч.»¹⁾). Поэзіей любители занимались *между дѣломъ, на досугѣ.*

Державинъ, хотя и считалъ поэзію „высшимъ даромъ божіевъ“, но не надѣялся, что его прославить «звонко пріятная лира»: его могутъ прославить только дѣянія Екатерины: «Превознесу тебя, прославлю, тобой бессмертнѣ буду самъ». Когда Державину надо было для «служебныхъ видовъ» достигнуть фаворита (Зубова), и это оказалось нелегко, то не осталось другого средства, какъ прибѣгнуть къ поэтическому таланту — написать оду. Такъ появилась въ свѣтѣ ода «Изображеніе Фелицы».

Но постепенно въ «гримящую» поэзію въ Россіи начинаетъ съ Запада проникать новая струя. Уже въ XVIII вѣкѣ, въ эпоху крайне неблагопріятную для развитія поэтическихъ талантовъ, во французской пѣснѣ зазвучали новые нотки. Въ поэзіи Андрея Шенѣ замѣчается новое вѣяніе, предозвѣщающее въ недалекомъ будущемъ появление романтизма. Поэзія Шенѣ уже *идеальная*; для него она уже не является *веселымъ искусствомъ*, но у молодого поэта нѣть религіи — той почвы, на которой вырастаетъ и развивается романтика. Мало-по-малу, возбуждается интересъ къ национальному прошлому, къ родной старинѣ; вопросъ о народности вообще, въ частности о народности въ искусствѣ, привлекаетъ къ себѣ вниманіе передовыхъ людей въ Германіи; здѣсь послѣ периода «Бурныхъ стремленій» начинаютъ возставать въ памяти забытые средніе вѣка; и въ этой эпохѣ *тьмы и мрака, кулачно права и феодального варварства* поэты Германіи начипаютъ теперь замѣчать и свѣтлые стороны. Восторженнымъ поклонникамъ «парнассскаго аеенизма», какъ называлъ Пушкинъ романтизмъ²⁾), космополитическая литература представляется уже менѣе интересной и болѣе холодной, чѣмъ средневѣковья литературныя произведенія, полныя неясныхъ, туманныхъ, но искреннихъ порывовъ къ свѣтлымъ идеаламъ. А въ этихъ идеалахъ историкъ не можетъ отказать средневѣковью.

1) «Правила пітическія» ректора *Аполлона*, изданныя въ 1774 г. въ пользу юношества, обучающагося въ московской славяно-греко-латинской академіи. См. Тихонравова, соч. т. III, 1 ч. стр. 128.

2) Посланіе къ Родзянко.

«Въ нѣмецкой литературѣ, по словамъ Гоголя¹⁾, замѣчается явленіе странное. Неясныя грезы, таинственныя преданія, необъяснимыя чудесныя происшествія, темные призраки невидимаго міра, мечты и страхи, сопровождающіе дѣтство человѣка, стали предметомъ нѣмецкихъ поэтовъ». И дѣйствительно, въ германскихъ литературныхъ кружкахъ среди писателей, воспитывавшихся на произведеніяхъ Гете и гуманнаго Шиллера, начинается сильное движение. Общество увлекается той старой поэзіей, которая выросла на христіанской почвѣ, т. е. средневѣковой; въ то же время все большее и большее значеніе получаются вопросы о национализмѣ, о народности. Юные приверженцы новой школы воодушевлены самыми лучшими идеалами; желанія и стремленія ихъ неопределены, неясны, но нельзя не оценить въ нихъ той «Sehnsucht», того романтическаго томленія по идеалу, которое отличаетъ произведенія этого периода.

Міросозерцаніе большинства поэтовъ нового направленія можно определить словами Новалиса, этого пророка романтической школы: «Въ этомъ мірѣ мы способны только хотѣть, т. е. желать, стремиться къ чему-нибудь, жить одними намѣреніями; настоящая же дѣятельность начнется въ *tой жизни*²⁾.

Среди нѣмецкихъ романтиковъ раздаются голоса, провозглашающіе тождество жизни и поэзіи; въ ихъ произведеніяхъ мы видимъ попытки примиренія и слиянія поэтическихъ идеаловъ съ дѣйствительностью, замѣчаемъ борьбу съ житейскою прозою, стремленіе къ поэзіи свободной, неусловной, не стѣсненной никакими рамками. Новалисъ считаетъ подчиненіе поэзіи дѣйствительности чѣмъ то постыднымъ и преступнымъ противъ священнаго духа поэзіи.

По мѣрѣ расширенія поэтическихъ горизонтовъ поэтъ все выше и выше поднимается въ общественномъ мнѣніи. Романтики считаютъ его человѣкомъ, исполненнымъ божественной благодати, пророкомъ, отмѣченнымъ божественнымъ лучемъ. Въ этой новой поэзіи, туманной и неясной, много задушевности—«Gemüth».

«Наша поэзія совершила такъ быстро своеобразный ходъ свой, воспитываясь поэтами всѣхъ вѣковъ и націй, обвѣваясь звуками всѣхъ поэтическихъ странъ, пробуя всѣ тоны и аккорды... Она остановилась съ любопытствомъ младенца передъ такимъ явленіемъ, какъ нѣмецкій романтизмъ. Ея собственные славянскія начала напомнили ей вдругъ о чёмъ-то и у нея похожемъ. Но при всемъ томъ, мы сами никакъ бы не столкну-

1) «Въ чёмъ-же, наконецъ, существо русской поэзіи и въ чёмъ ея особенность». Изъ переписки съ друзьями.

2) Г. Брандесъ. Литература XIX в. въ ея главныхъ теченіяхъ. Нѣмец. литер. Изд. «Обществ. Польза».

лись съ нѣмцами, если бы не явился среди насъ такой поэтъ, который показалъ намъ весь этотъ новый, необыкновенный міръ сквозь ясное стекло собственной природы, намъ болѣе доступной, чѣмъ нѣмецкая. Этотъ поэтъ — Жуковскій. Чудною высшою волею вложено было ему въ душу отъ дней младенчества непостижимое ему самому стремленіе къ незримому и таинственному. Въ душѣ его, точно какъ въ героѣ его баллады Вадимѣ, раздавался небесный звонокъ, зовущій вдаль¹⁾». Нѣмецкая романтика не могла не найти себѣ отклика въ мечтательномъ и чувствительномъ Жуковскомъ, въ его чуткой, мистически настроенной душѣ. Его свѣтлый, возвышенный взглядъ на жизнь, на человѣка совпадалъ съ взглядами нѣмецкихъ романтиковъ, а томленіе — этотъ особый видъ романтическихъ стремленій вдаль — вполнѣ отвѣчало душевнымъ свойствамъ нашего поэта. «Чего искать? Въ какихъ странахъ? Къ чему стремить желанье?», говорить Жуковскій устами Вадима, котораго волновали «скорбь о непозѣстномъ, стремленіе въ даль, любви тоска, томленіе разлуки».

Элегический тонъ въ поэзіи нѣмецкихъ романтиковъ также былъ сродни натурѣ Жуковскаго.

Элегическое настроеніе сильно сказывается уже въ стихотвореніи, напечатанномъ восемнадцатилѣтнимъ поэтомъ въ «Вѣстнике Европы» Карамзина. Это стихотвореніе — «Сельское кладбище» (вольный переводъ элегіи Грея), по мнѣнію Владимира Соловьева, можетъ считаться началомъ истинно человѣчной поэзіи въ Россіи послѣ условнаго риторического творчества Державинской эпохи —

... Тамъ, среди березъ и сосенъ неизмѣнныхъ,
Что въ сумракѣ земномъ на небеса глядятъ,
Гдѣ праотцы села въ гробахъ уединенныхъ
Крестами вѣнчаны, сномъ утомленнымъ спятъ,
Тамъ на закатѣ дня, осеннею порою,
Она, волшебница, явилась на свѣтъ...

... На сельскомъ кладбищѣ явилась ты недаромъ,
О, гений сладостный земли моей родной!
Хоть радугой мечты, хоть юной страсти жаромъ
Плѣняла послѣ ты, — но первымъ лучшимъ даромъ
Останется та грусть, что на кладбищѣ старомъ
Тебѣ навѣяль Богъ осеннею порой²⁾.

1) Изъ переписки съ друзьями. «Въ чёмъ же, наконецъ, существо русской поэзіи?»

2) «Родина русской поэзіи». «Вѣстникъ Европы». 1897. XI. Стихотворенія. Изд. 3-е. 1900 г. Стр. 151. «Жуковскій, по словамъ Бѣлинскаго, какъ поэтъ по преимуществу романтическій, былъ на Руси первымъ пѣвцомъ скорби».

Уже въ «Сельскомъ кладбищѣ» сказывается пониманіе юнымъ Жуковскимъ истинной поэзіи. Этотъ мягкий элегический тонъ, обращеніе къ прошлому, къ могиламъ, къ тому, «что робкой надеждой предано въ лоно благого Отца, правосудного Бога»¹⁾, встрѣчаемъ мы и въ болѣе позднихъ стихотвореніяхъ Жуковскаго.

Поѣтъ какъ бы ставить въ обязанность пѣвцамъ родины жить не однимъ настоящимъ, но и прошедшемъ; поѣтъ полагаетъ, что могилы отцовъ могутъ зажечь въ чадахъ любовь къ родинѣ²⁾.

Уже съ первыхъ шаговъ на литературномъ поприщѣ сказывается направление Жуковскаго: онъ романтикъ, воспитавшійся, главнымъ образомъ, на нѣмецкихъ образцахъ; романтикъ, который проводить принципы единства поэзіи, жизни и религіи въ литературѣ. Обширная программа нѣмецкихъ романтиковъ сузилась у Жуковскаго. Отличительная черта его романтизма—задушевность. Къ нему, можетъ быть, болѣе чѣмъ къ кому либо другому, можно отнести слова Гете: «Innre Wärme, Seelenwärme—Mittelpunkt»³⁾.

Стихотворенія Жуковскаго, въ которыхъ опредѣляется значеніе и сущность поэзіи, его письма и статьи, гдѣ онъ говоритъ объ обязанностяхъ, долгѣ и ответственной миссіи поэта—можетъ быть, одни изъ самыхъ цѣнныхъ памятниковъ мыслей и чувствъ нашего романтика, «разнодушнаго зрителя приманчивыхъ суетъ»⁴⁾, пѣвца возвышенной мечты и чистыхъ душевныхъ порывовъ въ туманныя, незримыя области истины и красоты. Взгляды Жуковскаго на поэзію и поэта—высоко этические; они имѣютъ и будутъ имѣть большое воспитательное значеніе. Въ этихъ опредѣленіяхъ поэзіи сказывается міросозерцаніе Жуковскаго, далекое отъ воззрѣній эпикурейскихъ поэтовъ начала XIX столѣтія—«угодниковъ красоты», «мудрыхъ грѣховодниковъ», «сладострастныхъ цитерскихъ тайнъ пѣвцовъ», находящихъ счастье «въ плѣнительныхъ грѣхахъ»⁵⁾.

Въ статьѣ «О нравственной пользѣ поэзіи» Жуковскій высказываетъ свое романтическое *profession de foi*: «мечтательность, даръ воображать, остроуміе, тонкая чувствительность—вотъ истинныя качества стихотворца. Чего требуетъ отъ поэта искусство? Чтобы онъ не оскорблялъ непосредственного чувства морального, чтобы онъ не противорѣчилъ морально-изящному, которое почитается однимъ изъ главныхъ источниковъ красоты стихотворческой». Уже въ этомъ «разсужденіи» Жуковскій становится

1) «Сельское кладбище». Второй переводъ.

2) «Пѣвецъ въ станѣ русск. воиновъ».

3) «Wanderers Sturmlied».

4) Кн. Вяземскій, «Къ Батюшкову».

5) Кн. Вяземскій, «Къ подругѣ», «Къ Давыдову».

сторонникъ теоріи свободнаго поэтическаго творчества и признаетъ за поэзіей ея высокое-этическое значение.

За четыре года до появленія разсужденія «о нравственной пользѣ поэзіи» было издано стихотвореніе Хераскова «Поэтъ», въ которомъ преподаются пітическія правила и наставленія стихотворцамъ. Здѣсь, между прочимъ, авторъ говоритъ: «Стихи тогда умны, разительны, прекрасны, когда естественны, замысловаты, ясны», и совѣтуетъ поэту «держаться предписанныхъ въ поэзіи уставовъ, имѣть Буалову науку о стихахъ всегда на памяти и часто на устахъ». Какой запоздалый голосъ умирающаго классицизма послѣ первыхъ произведеній Жуковскаго и взгляда, высказанного на поэзію Карамзинымъ: «поэтъ долженъ вѣрить единственно тому, что нравится ему, что сказано прекрасно... Поэзія—цвѣтникъ чувствительныхъ сердецъ»¹⁾.

Судя по первымъ стихотвореніямъ Жуковскаго, лира не является для него забавой, на которой «вмѣсто виста и бостона можно порѣзаться съ музой», какъ говорилъ Державинъ²⁾. Лира для поэта-романтика—утѣшительница, повѣренный души, близкій другъ.

О лира, другъ мой неизмѣнныи,
Повѣренныи души моей!
Въ часы тоски уединенной
Утѣши меня игрой своей.
... Въ душѣ моей цвѣтеть мой рай.
Я бурный міръ сей презираю.
О лира, другъ мой, утѣшай
Меня въ моемъ уединеніи³⁾.

У Жуковскаго, какъ и у англійскаго поэта Вордсвортъ⁴⁾, поэзія зарождается изъ мирнаго воспоминанія о пережитомъ душевномъ движении; его пѣсни—выраженіе и отзвуки прочувствованнаго. Поэзія, какъ «чудесный даръ боговъ, веселье и любовь пламенныхъ сердецъ, тихая прелестъ и очарованье души»⁵⁾, является главнымъ утѣшеніемъ въ жизни. Съ поэзіей теряетъ свой ужасъ и скорбь и нищета, такъ какъ происхожденіе ея—не земное, а небесное:

1) «Протей или несогласіе стихотворца».

2) «Къ Меркурію». Въ одѣ «На умѣренность» Державинъ говоритъ: «Нѣть дѣль—играю на бирюлькѣ, средь Музъ съ Гораціемъ пою».

3) Стихи, сочиненные въ день моего рожденія, къ моей лирѣ и къ друзьямъ моимъ 1803 г.

4) См. Брандесъ, Литерат. XIX вѣка Англійская литерат. Спб. 1898 г.

5) Къ поэзіи 1804 г.

Я музу юную, бывало,
Встрѣчалъ въ подлунной сторонѣ
И вдохновеніе слетало
Съ небесъ незванное ко мнѣ.
На все земное наводило
Животворящій лучъ оно,
И для меня въ то время было—
Жизнь и поэзія одно.

«Уже нѣть той поэзіи, пишеть Жуковскій въ 1848 г. Гоголю, которая нѣкогда была возвеличеніемъ, убранствомъ и утѣхою жизни... Такое беззаботное наслажденіе поэзіей теперь называется ребячествомъ» ⁶⁾.

Въ посланіи къ Батюшкову Жуковскій называетъ поэта «любимѣйшимъ сыномъ Зевса», которому удѣла нигдѣ на свѣтѣ нѣть. Въ то время, когда Зевсъ дѣлилъ міръ, поэтъ уходилъ въ страну воображенія. Онъ позабылъ земное, плѣненный величествомъ и красою небесъ, и съ тѣхъ поръ «необожатель подсолнечныхъ суетъ сталъ вѣрный обитатель страны духовъ поэтъ, страны не откровенной». Поэтъ «въ мечтахъ, жилецъ незнаемаго міра—только тотъ, кому безсмертыми богами даны въ спутницы музы, въ комъ искра вдохновенія съ огнемъ души зажглась». Поэтъ живъ только до тѣхъ поръ, пока въ немъ горитъ дарованный небомъ огонь, а неугасимъ онъ только въ ясной душѣ, которая любовью страстной лишь то боготворить, что благо, что прекрасно. Въ его спокойной душѣ должна быть соединена младенческая чистота съ величиемъ свободы. Когда поэтъ летитъ своею мыслью къ Правителю вселенной, при всѣхъ измѣненіяхъ рока, онъ остается добрымъ и прямымъ, следуя священнымъ урокамъ и вѣлѣньямъ лишь совѣсти одной» ⁷⁾.

Въ данномъ случаѣ взгляды Жуковскаго на поэта совпадаютъ съ взглядами Языкова, который требуетъ, чтобы поэтъ былъ «величественъ и святъ, невиненъ, какъ голубица», несмотря на то, «привѣтно ли сіяніе денницы, ужасенъ ли судьбины приговоръ» ⁸⁾.

Людямъ не легко живется; и на долю поэта выпадаютъ страданія, утраты и испытанія, но все, что посыпаетъ судьба, слѣдуетъ принимать и не сѣтовать: «Ропотъ смертныхъ безразсуденъ, а Царь Всевышній правосуденъ».

Поэтовъ оживляетъ небесный лучъ. Поэты, какъ избранники небесъ, поставлены высоко надъ толпою. Это высокое положеніе налагаетъ на

6) «Слова поэта—дѣла его».

7) Къ Батюшкову. 1812 г.

8) Поэту. Стихотворенія Языкова. Ч. II Спб. 1858 г., стр. 6—7.

нихъ и особыя обязанности; послѣднія заключаются въ выполненіи рет-
бованій высшей этики, этики христіанской. Ноэтъ не можетъ не быть
добрымъ и сострадательнымъ; онъ долженъ согрѣть и утѣшить. Внимая
умиленно лирѣ, страдалецъ подойдетъ къ своей ужасной, горькой чашѣ
и волю Промысла, смирясь, благословить ¹⁾, герой, пробужденный зву-
комъ лиры, будетъ дивить міръ», а юноша, воспламененный голосомъ
пѣвца, будетъ лить слезы, лобзать алтарь отечества, ожидая за него
смерти, какъ блага ²⁾). Но этимъ не ограничиваются обязанности поэта:
ему слѣдуетъ обрушиться громомъ на жестокихъ и развратныхъ, попи-
рающихъ невинность, доблести и честь, дерзающихъ величать себя по-
лубогами.

Поэтъ, великихъ душъ воспламенитель, глаголь правды, лѣкарство
душъ, безвѣріемъ крушимыхъ, стражъ нетленный той завѣсы, которую
предъ нами горній міръ задернутъ; поэтъ, видя торжество порока, силь-
зла и слыша хохотъ безстыдства, разврата или насмѣшку безвѣрія, дол-
женъ изъ этой бездны вынести въ душѣ неоскверненной вѣру въ Бога ³⁾.

Таковъ долгъ тѣхъ избранныхъ, отмѣченныхъ божественнымъ лучемъ,
которые служатъ поэзіи. А поэзія—«есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли;
небесной религії сестра земная», «свѣтлый маякъ, Самимъ Создателемъ
зажженный» ⁴⁾

Другія всѣ искусства, по убѣждению Жуковскаго, возможно пріобрѣсти
наукою; «поэта же творить, святѣйшее оставивъ при себѣ, природа.
Геніи рождаются сами; нисходить прямо съ неба то, что къ небу возно-
ситъ насъ» ⁵⁾.

Опредѣливши сущность поэзіи и обязанности поэта, Жуковскій под-
ходитъ къ разрѣшенію вопроса, представляющаго большой интересъ и
привлекающаго къ себѣ вниманіе и въ наше время. Вопросъ этотъ—
поэтическое творчество.

Человѣкъ не можетъ творить изъ ничего; онъ только можетъ своими,
заимствованными изъ созданія средствами, повторять то, что Богъ создалъ
Свою всемогущую волею. Этотъ произвольный актъ творенія Жуковскій
называетъ возвышенную частью души. Художникъ—творецъ, цѣль его—
твореніе, свободное, вдохновеніе. Самый актъ художественного творчества
заключается въ осуществленіи идеи Творца. Земной художникъ, творя,
осуществляетъ свою идею, но материалы и для самой идеи и для ея

1) «Къ кн. Вяземскому».

2) Къ поэзіи.

3) Камоэнсъ.

4) О. с.

5) О. с.

осуществлениі онъ заимствуетъ уже изъ существующаго творенія Божія; онъ творить только потому, что ощущаетъ въ душѣ неутолимое, врожденное стремленіе къ творчеству. Какъ посланникъ Божій, поэтъ ищетъ, находитъ и открываетъ другимъ повсемѣстное присутствіе духа Божія. Вполнѣ осуществить идеалъ поэта, конечно, не могъ никто. Но здѣсь вопросъ не въ достижениі, а въ *стремлениі достичнуть*⁶⁾. Нравственно образовательное вліяніе на насъ заключается не въ томъ, что составляется содержаніе поэтическаго произведенія, а въ томъ, что есть самъ поэтъ; увлекаемые прелестью его созданія, мы нечувствительно проникаемся вѣрою поэта, его любовью, его возвышенностью и чистотою, и онъ по тайному сродству остаются въ сліяніи съ нами, какъ послѣдній результатъ поэтическаго наслажденія. Если у поэта свѣтлая, чистая, младенчески вѣрующая душа, мы предаемся его поэзіи безъ всякой тревоги, съ съ нимъ вмѣстѣ вѣруемъ святому, любимъ добро, постигаемъ красоту, и знаемъ, какое назначеніе нашей души⁷⁾:

Стало быть, согласно теоріи Жуковскаго, учителемъ и проповѣдникомъ можетъ быть только тотъ поэтъ, *слова котораго соотвѣтствуютъ дѣламъ его*.

Извѣстно, что въ наше время нѣкоторыми проводится теорія, не имѣющая ничего общаго со взглядами Жуковскаго: для насъ имѣютъ значеніе *только слова поэта*. Но, вѣдь, человѣкъ познается не только по словамъ его!... Поэтъ не можетъ быть учителемъ и пророкомъ, если его слова не соотвѣтствуютъ его дѣйствіямъ и поступкамъ.

Когда вѣ тебѣ на подвигѣ все готово...

*Иди ты въ міръ, да слышить онъ пророка!*⁸⁾.

Въ посланіи къ кн. Оболенской Жуковскій самъ подводить итоги своей поэтической дѣятельности—

А я, мечтательного зрителя,
Глядѣль до сей поры на свѣтъ
Сквозь призму сердца, какъ поэтъ.
· · · · ·

Могу товарищемъ я быть
Во всемъ, что въ жизни сей прекрасно,
Съ душой невинною и ясной

⁶⁾ Ср. Хоръ ангеловъ (Гете, Фаустъ, II часть); Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.

⁷⁾ «Объ изящномъ искусствѣ»; письмо къ Гоголю; «Слова поэта—дѣла его».

⁸⁾ Языковъ, «Поэтъ».

Могу свою я душу слить:
Но не способенъ зоркимъ взглядомъ
Приманокъ свѣта различать;
Могу на счастье руку дать,
Но не впередъ идти, а рядомъ.

Человѣчеству дороги не только тѣ, которые идутъ впереди вѣка, открываютъ новые горизонты, пробиваются и прокладываютъ новые пути. Цѣнны для него и тѣ, которые, не идя впереди, не открывая новаго, только помогаютъ своимъ современникамъ честно идти по проложенной уже дорогѣ.

Счастливо поколѣніе, которое могло взять за руку такого спутника, какъ Жуковскій, и идти съ нимъ рядомъ.

Мы же, потомки этого поколѣнія, озираясь сегодня назадъ, на наше литературное прошлое, съ гордостью можетъ указать въ немъ на Жуковскаго,—этого поэта-христіанина, который «стройно жилъ и стройно пѣлъ» и своею лирою открывалъ намъ, «все человѣчески-благое».

Пушкинскіе принципы въ творчествѣ Гоголя.

Много говорилось и будетъ говориться о выдающейся роли Гоголя въ развитіи русской литературы, о высокомъ мѣстѣ, занимаемомъ авторомъ «Мертвыхъ Душъ» среди другихъ писателей, поэтовъ русскихъ объ общественномъ значеніи его смѣха сквозь слезы, о странной психологіи этого удивительного таланта, этой загадочной натуры. Но среди другихъ изслѣдованій и пріемовъ изученія поэзіи великаго русскаго юмориста, среди другихъ точекъ зрењія, на которыхъ становится читатель и критикъ, скромное пока мѣсто занимаетъ психологической анализъ творчества Гоголя въ духѣ той лингвистической литературной теоріи, по которой слово такого-то поэта является прежде всего могущественнымъ орудіемъ преобразованія, совершенствованія мысли самого поэта,—по которой языкъ такого-то народа является прежде всего могущественнымъ орудіемъ постояннаго преобразованія, развитія и совершенствованія всѣхъ духовныхъ силъ этого народа,—по которой рѣчь такого-то по имени мастера слова, поэта-художника, не передаетъ его мысли, но возбуждаетъ въ средѣ, родственной съ нимъ по языку, безконечную работу мысли, безпределное измѣненіе содержанія, преобразованіе, ея прогрессъ. А между тѣмъ литературное наслѣдіе Гоголя, взятое во всемъ его объемѣ, представляеть драгоценный памятникъ русской литературы въ смыслѣ выясненія такого именно значенія слова и поэзіи въ духовной дѣятельности человѣка и народа.

Я не стану излагать здѣсь основныхъ положеній упомянутой мною литературной теоріи, блестяще развитой въ трудахъ А. А. Потебни, известныхъ многимъ присутствующимъ въ этомъ торжественномъ собраніи, и въ его лекціяхъ по теоріи поэзіи, до сихъ поръ не изданныхъ; я напомню лишь о томъ, что для обоснованія этой многообѣщающей теоріи, для этого проникновенія въ тайники человѣческаго духа, человѣческаго творчества, первая половина XIX. вѣка, когда на горизонтѣ русской литературы скопились грозныя тучи и разразились цѣльнымъ ураганомъ поэтическаго творчества; когда зажглись яркіе свѣточи поэзіи Пушкина, Лермонтова, Гоголя, составляющихъ славу и гордость нашей родины на

міровомъ рынкѣ поэзіі,— первая половина XIX вѣка представляетъ безпримѣрный по своей цѣнности материалъ и для лингвиста и для историка культуры.

Еще русская наука только приближалась къ той научной области, которая отмежевала себѣ изслѣдованіе слова и мысли въ ихъ взаимномъ отношеніи, а русское искусство, русская поэзія въ лицѣ Пушкина уже намѣтила путь къ одной изъ труднѣйшихъ проблемъ человѣческаго знанія. Но вѣщее слово автора бессмертнаго сонета «Поэтъ, не дорожи любовію народной», «Черни», «Разговоръ книгопродаца съ поэтомъ», «Египетскихъ ночей» и другихъ аналогичныхъ по содержанію произведеній застало и публику и критику врасплохъ. (Основные принципы поэтическаго творчества, намѣченные въ рядѣ лирическихъ стихотвореній, готовы были найти себѣ новое, яркое и всестороннее освѣщеніе въ романѣ изъ жизни художника Чарскаго¹⁾). Выраженные по большей части въ лирической формѣ (всегда односторонней), взгляды Пушкина или, лучше сказать, ихъ выраженія поняты были *прозаически* и показались да и теперь кажутся многимъ не то что ложью, а большой несправедливостью. Трудно было усмотрѣть сочетаніе эгоистической дѣятельности художника съ самимъ высокимъ безпредѣльнымъ по силѣ своего вліянія альтруизмомъ въ такихъ, напримѣръ, стихахъ:

Глупецъ (т. е. чернь) кричитъ: куда, куда?

Дорога здѣсь! Но ты не слышишь.

Идешь, куда тебя влекутъ

Мечты невольныя. Твой трудъ

Тебѣ награда. Имъ ты дышишь,

А плодъ его бросаешь ты

Толпѣ, рабынѣ суety!

Эти стихи и другіе оскорбили толпу читателей и продолжаютъ оскорблять толпу критиковъ, въ особенности изъ тѣхъ, которые склонны думать, что критика состоитъ въ оцѣнкѣ и направлениіи поэзіи и пользованіи ею, а не въ *читеніи и пониманіи* прежде всего; которые не могутъ усвоить себѣ простой мысли, что критикъ есть только первоклассный читатель, а затѣмъ, если угодно, и руководитель только не поэта, творца.

Какое право имѣть поэтъ, удерживая вниманье долгихъ думъ, себѣ лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи (и для болѣе возвышенныхъ цѣлей, указываемыхъ критикой и публикой) не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи; идти, куда влечеть его свободный умъ,

1) Читатель, надо полагать, долженъ былъ найти отвѣтъ въ этомъ романѣ и на жгучай вопросѣ: а что если житейскія волненія застигнутъ, захватятъ поэта и жреца искусства какъ онъ отнесется къ нимъ?

усовершенствуя плоды любимыхъ думъ? За этимъ вопросомъ можно поставить другой: какой смыслъ имѣть выраженіе: *не продается вдохновеніе, но можно рукопись продать?* Тутъ поэтъ и книгопродавецъ сходятся во мнѣніяхъ, тутъ художникъ и ремесленникъ соединяются знакомъ равенства. Тутъ правильно поставленъ и разрѣшенъ вопросъ о двухъ моментахъ литературной дѣятельности поэта, о работѣ для себя, а по томъ для другихъ, при чмъ первому моменту придается особое исключительное значеніе, а второй (польза, житейскія волненія и битвы) отодвигается на задній планъ. Чарскій *изумленъ* (?), какъ чужая мысль, едва коснувшись слуха импровизатора, уже стала его собственною, какъ будто онъ давно съ нею носился, когда итальянецъ-поэтъ благодаритъ за сочувство поэта же, Чарскаго, своей импровизаціей на тему стихотворенія «Чернь». Можно не изумляться, когда тотъ же импровизаторъ декламируетъ на тему совершенно, повидимому, случайную и для него постороннюю: *Клеопатра и ея любовники*. Гдѣ тутъ мысль, съ которою онъ постоянно посился бы? Она есть: восторги души, она, эта душа, не продается, какъ не продается тѣло обычной щѣной. Ею, этою мыслю, не исчерпывается содержаніе всего стихотворенія, но присутствіе ея чувствуется: она дала толчокъ полету воображенія ¹⁾.

Любопытно одно замѣчаніе Гоголя, которое давно бы должно разсказать возникающее у читателя недоумѣніе при чтеніи этихъ пушкинскихъ откровенностей: «Поди улови характеръ этого человѣка... Всѣ сочиненія его—полный арсеналъ орудій поэта. Ступай, выбирай себѣ всякъ по рукѣ любое, и выходи съ нимъ на битву; но самъ поэтъ на битву съ нимъ не вышелъ. Зачѣмъ не вышелъ? Это другой вопросъ...» Посмотримъ теперь, какъ вышелъ на битву, и съ какими орудіями самъ Гоголь?

Когда говорить о гоголевскомъ періодѣ русской литературы, о гоголевской школѣ; когда комментируется известное лирическое и, следовательно, одностороннее да еще окрашенное въ гоголевскую гиперболу изображеніе судьбы поэта, избравшаго себѣ одно высокое, и поэта пошлой пошлости,—то нерѣдко ставятся грани тамъ, гдѣ ихъ въ дѣятельности, въ самомъ существѣ дѣла, въ основныхъ принципахъ движенія русского слова и мысли, русской поэзіи XIX вѣка, не было.

Въ маѣ 1831 года Гоголь, духовной жаждою томимый, переживающій періодъ беспокойнаго состоянія духа, жажды дѣятельности, жажды видѣть, слышать и говорить, подведенъ былъ подъ благословеніе Пуш-

1) Свобода творчества для Пушкина, въ его мнѣніи о ней, была однимъ изъ видовъ свободы совѣсти, свободы дѣятельности. Её онъ ставилъ выше «идейной убѣжденности, граничащей нерѣдко съ предубѣждениемъ и предразсудкомъ», мѣшающимъ «видѣть и слышать», т. е. пользоваться самыми божественными дарами человѣческой мысли.

кина. Къ алтарю русской поэзіи приступилъ для служенія искусству новый жрець Аполлона, и вмѣсто прелести «важной простоты», вмѣсто нѣжной благородной пушкинской ироніи, возвышающихъ душу слезъ восторга и умиленья, раздался смѣхъ, благородный гоголевскій смѣхъ, первоначально простодушный и наивный. Судя по тому чрезвычайно сильному впечатлѣнію, которое произвело на Гоголя новое общество, судя по той необыкновенно оживленной творческой дѣятельности автора «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки», которою ознаменована была первая половина 30-хъ годовъ, можно уже заключить о какомъ-то крупномъ душевномъ переворотѣ, можно думать, что въ это время безнѣкѣнному и неясному для самаго поэта стремлению найденъ исходъ. Мысль о своей «необыкновенности» нашла себѣ, повидимому, удовлетвореніе и успокоеніе. Служеніе искусству отнынѣ сдѣлалась для него высокимъ, нравственнымъ долгомъ; метаніямъ изъ стороны въ сторону положенъ конецъ. Найдено великое душевное дѣло. Огромный талантъ великаго русскаго юмориста былъ пробужденъ божественнымъ глаголомъ богатыря русской поэзіи, и съ этихъ поръ открылось для него великое пѣтище мысли и слова, и одинъ изъ глубочайшихъ принциповъ пушкинской поэтики и этики властно воцарился въ сознаніи новаго таланта и не замедлилъ ярко обнаружиться въ крупнѣйшихъ созданіяхъ гоголевскаго юмора, въ «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ душахъ». Тутъ уже чувствуется то истиннае вздохновеніе, которое, по словамъ Пушкина, состоитъ въ «расположеніи души къ живѣшему воспріятію впечатлѣній, соображенію понятій и объясненію ихъ».

На томъ жертвенникѣ, у котораго стояль великий мастеръ и учитель русской поэзіи, было начертано: поэзія есть одно изъ средствъ личнаго самосовершенствованія, преобразованія своихъ мыслей и чувствъ, освобожденія души отъ власти темныхъ силъ и пошлыхъ стремлений, отъ власти всякой фальши и самообольщенія. Служа себѣ, поэтъ лучше всего можетъ сослужить службу и обществу.—Геніальный изобразитель пошлости людской смѣло входитъ въ арсеналъ орудій первого русскаго истиннаго поэта, береть у него темы для двухъ капитальнѣйшихъ своихъ произведеній, сосредоточиваетъ вниманье долгихъ думъ, отдаваясь работѣ надъ самимъ собою, превращаетъ легкую иронію надъ «панычемъ въ горховомъ пальто» въ горькій, но благородный смѣхъ надъ самимъ собою и своими соплеменниками, смѣхъ сквозь слезы, переживаетъ лучшія минуты звуковъ сладкихъ и молитвъ: создаетъ «Ревизора», выходитъ на битву и даетъ первое генеральское сраженіе при первой постановкѣ пьесы на сценѣ. Это было первое произведеніе Гоголя, процессъ созданія котораго былъ вмѣстѣ съ тѣмъ великимъ душевнымъ моментомъ въ его жизни,

и сладость этого момента была результатомъ этой именно творческой работы и падъ самимъ собой. Единственное, по словамъ автора, благородное лицо — смѣхъ, лицо, не замѣченное большинствомъ зрителей, не только подеказывало «долой допотопныхъ чиновниковъ!», но и «долой хлестаковщину!». Исторія шести чиновниковъ уѣзднаго города, заключавшая въ себѣ и *странницу изъ исторіи души самого поэта*, оказалась вмѣстѣ съ тѣмъ и великимъ актомъ общественного самосознанія. Послѣднее обстоятельство изумило самого автора и вызвало съ его стороны цѣлый рядъ напрасныхъ разъясненій объ истинномъ значеніи комедіи, о душевномъ городѣ и пр. Разъ созданное, замѣтиль по этому поводу А. А. Потебня, освобождается изъ-подъ власти художника; оно является и для него чѣмъ-то постороннимъ, настолько постороннимъ, что, если художникъ является комментаторомъ своего произведенія, если онъ излагаетъ не исторію его возникновенія, а говорить, примѣрно, что этотъ образъ значить,—онъ становится въ ряды критиковъ и можетъ быть судимъ наравнѣ съ ними.—Оно такъ и случилось съ Гоголемъ, когда онъ выступилъ съ объясненіями не только того, *какъ* возникали его образы, но и того, *что* они должны значить; когда эти критическія соображенія поставлены были рядомъ съ неумѣстною проповѣдью о томъ, какъ вообще надо жить. Тѣнь подозрѣнія наброшена была не только на учителя жизни и критика, но и на мастера своего дѣла, которому часто одному известно бываетъ, какъ дѣжалось это дѣло.

Какъ бы то ни было, а со времени создания «Ревизора» исторія творчества Гоголя является исторіей его душевнаго роста; поэзія для него становится личнымъ, огромной цѣнности нравственнымъ подвигомъ.

«Никто изъ моихъ читателей не зналъ, что, смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною», откровенно говорить Гоголь въ знаменитомъ З-мъ письмѣ по поводу «Мертвыхъ душъ». Никто, можемъ добавить, съ такою откровенностью не высказалъ главного принципа пушкинской поэзіи, если не считать заявленія Лермонтова, что онъ отъ своего демона отдѣлялся (отдѣлялся?) стихами, ироніей надъ Печоринымъ, подобной ироніи Пушкина надъ Онѣгиномъ¹⁾. Это признаніе Гоголя представлять безпримѣрное, по своей прямотѣ явленіе во всемирной литературѣ. Сколько надо было нравственной силы, гражданского мужества, если хотите, самопожертвованія (выносить свою душу на базаръ житейской суполоки мгнѣній рѣшится не всякій), чтобы сдѣлать такое признаніе!.

«Богъ далъ мнѣ многостороннюю природу», говорить тамъ же Гоголь. Кромѣ дурныхъ качествъ, «Онъ поселилъ мнѣ въ душу пѣсколько

¹⁾ У Гёте есть на этотъ счетъ нѣсколько великолѣпныхъ Sprüche.

хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ... было желаніе быть лучшимъ... Я не любилъ никогда моихъ дурныхъ качествъ... Чуднымъ, высшимъ внушеніемъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ: *необыкновеннымъ душевнымъ событиемъ* я былъ наведенъ на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ». Далѣе, какъ бы испугавшись своей собственной откровенности, писатель заявляетъ: «Не думай однако, послѣ этой исповѣди, чтобы я самъ былъ такой же уродъ, какъ мои герои¹⁾. Нѣть, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро; я сгараю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои. Я воюю съ ними и буду воевать, и изгоню ихъ. И это вздоръ, что выпустили глупые свѣтскіе умники, будто только человѣку и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ ужъ и черты нельзя измѣнить въ себѣ: только въ глупой свѣтской башкѣ могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также наѣдь ними посмѣяться. Я оторвался уже отъ многаго тѣмъ, что, лишивши картинааго вида и рыцарской маски, подъ которой выѣзжаетъ козыремъ всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ тою гадостію, которая всѣмъ видна». Вотъ какъ обнажаетъ предъ нами свою душу одинъ изъ великихъ русскихъ писателей не въ конкретныхъ созданіяхъ своей поэзіи, а въ самой прозаической прозѣ.

Въ нашей критикѣ, а за ней и въ публикѣ замѣчается настроение думать (и оно, пожалуй, господствуетъ), что послѣ «Мертвыхъ Душъ» Гоголь-поэтъ умеръ, что душевная болѣзнь была медленнымъ умираніемъ, что искренность писателя должна быть въ большомъ подозрѣніи. Находятся даже ёдвокаты, оправдывающіе эту неискренность самымъ легальнымъ образомъ. Исходя изъ этихъ предпосылокъ, ко всѣмъ гоголевскимъ признаніямъ послѣ «Мертвыхъ душъ» принято относиться съ недовѣріемъ. Намъ думается, что совѣтъ Тургенева каждому начинающему писателю выучить наизусть известный сонетъ Пушкина «Поэтъ, не дорожи любовью народной»—можно дополнить другимъ совѣтомъ всякому не только поэту, но и читателю, критику: выучить наизусть третье письмо Гоголя по поводу «Мертвыхъ душъ». Болѣзнь Гоголя не могла помѣшать искренности, правдивости его признаній, обдуманности его дѣйствій, въ томъ числѣ,

1) У Гёте есть много прекрасныхъ параллелей, сюда относящихся между прочимъ въ его изреченіяхъ (*Sprüche*). Когда критика напала на слѣды «душевной исторіи» поэта и не поняла въ чёмъ дѣло, вотъ какъ отвѣтилъ онъ имъ: «Враги угрожаютъ тебѣ, и число ихъ растетъ со дня на день. Какъ тебѣ не страшно?—Я на это смотрю спокойно: они держать облуду (линовище, старую шкуру, которую змѣя сбрасываетъ линяя), которую я только что сбросилъ, и когда слѣдующая будетъ достаточно зрѣла, то скину ее немедленно и въ новой жизни и юности уйду въ царство боговъ». Есть другие *Sprüche* на ту же тему съ болѣе рѣзкими выраженіями той же мысли.

напримѣръ, сожженія 2-тoma «Мертвыхъ душъ». Есть основаніе думать, что всегда существовала потребность въ положительныхъ литературныхъ типахъ, и русскіе писатели, въ особенности Гоголь, глубоко чувствовали эту потребность. Но въ томъ то и заключается трагизмъ положенія, что положительные типы не выдумываются («Кошмаровъ я не выдумывалъ»). Можно ихъ выдумать, но они не выживутъ. Гоголь дошелъ до необходимости конкретнаго изображенія такихъ типовъ, но увидѣлъ, что не можетъ ихъ создать, и сознаніе этого бессилія было для него смертью; оно же ослабило подъ конецъ жизни его поэтическую дѣятельность и было причиной сожженія «Мертвыхъ душъ». Плохимъ лѣкарствомъ въ этомъ страданіи была прозаическая проповѣдь. Тутъ Гоголь забылъ литературную заповѣдь Пушкина и, взявшись за прозаическую метлу житейской морали, убѣдился между прочимъ и въ томъ, что ни «Ревизоръ», ни «Мертвыми душами» онъ не отдѣлался отъ одного изъ своихъ демоновъ. «Я размахнулся въ моей книгѣ такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духу заглянуть въ нее» говоритъ онъ въ своемъ письмѣ къ Жуковскому по поводу «Выбранныхъ мѣстъ». Это въ высшей степени цѣнное указаніе, которое ни въ коемъ случаѣ не можетъ быть приписано болѣзненному состоянію, не надо упускать изъ виду тѣмъ, у кого хватаетъ духу заглянуть въ эту книгу и, освободившись отъ власти указанныхъ мною выше обычныхъ предпосылокъ, отдѣлить хлестаковщину отъ благородной мысли поэта, его беззавѣтной искренности и горячаго желанія служить своимъ словомъ истинѣ и добру.

Писать исторію, говорить Гёте, значить нѣкоторымъ образомъ сваливать съ плечъ прошедшее, отдѣльваться отъ прошедшаго (не въ смыслѣ— становиться чуждымъ по отношенію къ нему, а въ смыслѣ уловленія момента развитія, какъ говорятъ новѣйшіе философы, вслѣдствіе котораго мы стали выше, т. е. для насъ возможно сдѣлать *опытъ прошедшаго и сдѣлать невозможнымъ повтореніе этого опыта*). Мы можемъ, говорилъ А. А. Потебня въ своихъ лекціяхъ, различать, какъ это дѣлаетъ Тургеневъ, поэтовъ субъективныхъ и объективныхъ. Это дѣленіе впрочемъ приблизительно только. Если настроеніе поэта эпическое, то *актъ творчества*, совершаемый имъ въ своемъ романѣ, повѣсти, будетъ имѣть значеніе рѣшенія исторической задачи. Если онъ лирикъ, а къ лирикѣ, какъ къ субъективному роду поэтическихъ произведеній относится и сатира, то онъ пишетъ исторію своей души и косвенно своего времени, и это служить для него средствомъ саморазвитія. Такого рода акты саморазвитія могутъ происходить и въ заурядныхъ лицахъ, которыхъ также могутъ быть *истинными поэтами*. Но если поэтъ—выдающаяся личность, то его работа надъ собой является и работой общества тоже надъ собой.

Таковы въ общихъ чертахъ основные мотивы поэтической дѣятельности и, скажемъ, душевной жизни писателя-подвижника, для которого слова его были дѣлами. Главнымъ дѣломъ его, по завѣту Пушкина, было стремленіе сбросить съ себя «ветхаго» человѣка, очистить свой душевный арсеналъ отъ того, что мутить жизнь, что вносить въ нее чисто-русскую и, если хотите, чисто-славянскую безалаберщину, что мѣшаетъ, и подчасъ весьма сильно, спокойному, ясному, трезвому рѣшенію житейскихъ задачъ въ минуты волненій и битвъ. Это великий подвигъ! Гоголь въ русской литературѣ обнялъ разомъ то, что составляло работу цѣлаго периода западно-европейскихъ литературъ. Но суть этого подвига состоить не въ конечномъ результатаѣ (успѣль ли Гоголь отдѣлаться отъ своихъ «гадостей», а вмѣстѣ съ нимъ и его читатели?), а въ самомъ процессѣ, имъ возбужденномъ, въ самыхъ пріемахъ освобожденія души отъ крѣпостной зависимости Маниловыхъ, Собакевичей и прочихъ помѣщиковъ. Плодъ своей творческой дѣятельности поэтъ, ушедши отъ насъ навѣки, бросилъ намъ. Великий процессъ самопознанія, самоочищенія отъ хлестаковщины, маниловщины и прочихъ недуговъ, начатый геніальнымъ русскимъ юмористомъ, нашелъ себѣ откликъ въ коллективной душѣ русского общества, народа. Освободились ли мы и теперь не отъ Хлестаковыхъ, Маниловыхъ, Чичиковыхъ, а отъ хлестаковщины, маниловщины? Нѣть! Процессъ освобожденія продолжается и теперь, и нравственный ростъ общества подъ благотворнымъ вліяніемъ гоголевскаго юмора—воть главная заслуга писателя. Слава и честь великому русскому юмористу, положившему начало великому общественному дѣлу!

Н. В. Гоголь какъ романтикъ и поэтъ русской дѣйствительности.

(Рѣчъ, произнесенная въ торжественномъ собраніи Императорскаго Харьковскаго университета, посвященномъ 50-лѣтію со дня смерти Н. В. Гоголя) ¹⁾.

«Изъ всѣхъ писателей, которыхъ мнѣ ни случалось читать біографіи, я еще не встрѣчалъ ни одного, кто бы такъ упримо преслѣдовалъ разъ избранный предметъ» (Письма Гоголя, ред. Шенрока, т. III, стр. 445).

М.м. Г.г.! Предметомъ своей рѣчи я избралъ одинъ вопросъ изъ психологіи Гоголя, по моему мнѣнію, самый важный и существенный для изученія его жизни и творчества—вопросъ объ основныхъ воззрѣніяхъ Гоголя на задачи жизни человѣка вообще и въ частности на «писателя» т. е. поэта и на поэтическое творчество. Единственнымъ, въ высокой степени важнымъ и цѣннымъ материаломъ для изученія этой стороны существа Гоголя являются его «Письма», проливающія яркій свѣтъ на тайна тайныхъ духа этого «скрытнаго» и «таинственнаго» человѣка въ жизни, для круга его товарищѣй, друзей и знакомыхъ. Изученіе писемъ Гоголя въ ихъ взаимной связи, съ цѣлью повѣрки степени устойчивости и искренности извѣстнаго настроенія, и въ связи съ объективными данными, относящимися къ исторіи русской жизни и литературы первой половины XIX вѣка, приводить къ убѣжденію, что Гоголь, по складу своихъ воззрѣній и стремленій, былъ однимъ изъ самыхъ искреннихъ, яркихъ и ревностныхъ представителей романтизма въ русской жизни и литературѣ,—стремился стать въ своей жизни и литературной дѣятельности истовыи романикомъ въ томъ смыслѣ этого слова, какъ понимала его ново-романтическая теорія, провозгласившая принципъ единства поэзіи, жизни и религіи въ литературѣ. Изъ столкновенія мечтательно-романтическихъ представлений Гоголя о поэзіи, заключавшихъ въ себѣ многія коренные, неразрѣшенные еще писательской практикой второй четверти XIX вѣка, противорѣчія и отвлекавшихъ мысль поэта отъ жизни въ область морали и религіи, съ естественной, натуральной способностью таланта этого поэта, влекшой его къ жизни, къ землѣ, къ людямъ обыкно-

¹⁾ Печатается съ необходимыми дополненіями.

веннымъ, въ связи съ жизненными и писательскими невзгодами, которые слишкомъ тяжело отзывались на впечатлительной и болѣзньно-нервной натурѣ Гоголя и дѣлали его такимъ же «великимъ страдальцемъ», какъ и Пушкина,— возникла та извѣстная трагедія духа великаго писателя, которая завершилась уничтоженiemъ II тома «Мертвыхъ Душъ», задушевнаго произведенія Гоголя, въ которомъ онъ видѣлъ цѣль и задачу своей жизни, исполненіе «священнаго завѣщанія» Пушкина (Письма, ред. Шенрока, изд. Маркса т. I, 441).

Уже въ нѣжинскомъ лицѣ Гоголь, ко времени окончанія своего курса, является романтикомъ-мечтателемъ, по своимъ идеальнымъ влечениямъ, жизненнымъ стремленіямъ и литературнымъ симпатіямъ и опытомъ¹⁾. Онъ стремится «видѣть и чувствовать прекрасное»; 18-ти лѣтній лицейстъ, отказывая себѣ въ необходимомъ, собираетъ «съ величайшимъ трудомъ все годовое свое жалованье и выписываетъ изъ Львова соч. Шиллера за 40 руб.»—«деньги весьма немаловажныя по его состоянію» (Письма, 69); вѣря «въ высокое назначеніе человѣка (75)», онъ «кипитъ», «пламенѣеть» неугасимой ревностью принести пользу государству, человѣчеству, означить свое имя к.-л. прекраснымъ дѣломъ; свои «высокія начертанія», свои «долговременныя думы» онъ таитъ въ душѣ своей; «недовѣрчивый ни къ кому, скрытный» онъ «не повѣряетъ своихъ тайныхъ помышленій, не дѣлаетъ ничего, что могло бы выявить глубь души его (89—90). Въ школѣ, далекой отъ педагогического совершенства, Гоголю приходилось терпѣть горе и нужду, выносить «неблагодарности, несправедливости, глупыя, смѣшныя притязанія, холодное презрѣніе», но онъ былъ проникнутъ оптимистическимъ убѣжденіемъ, что испытанное страданіе лучше ведетъ къ счастію, что зло жизни обращается въ добро, и что за всѣ худыя дѣла нужно платить благодѣяніями (98). Мечтательно-романтическое настроеніе юноши Гоголя послѣдняго периода жизни его въ Нѣжинѣ ярко отражается въ заключительныхъ строфахъ его идилліи «Гансъ Кюхельгарденъ», написанной въ подражаніе Фоссовой Луизѣ, въ 1827 году, въ лицѣ:

(Эпилогъ):

Въ уединеніи, въ пустынѣ,

Въ никѣмъ незнаемой глухи

Въ моей невѣdomой святынѣ

Такъ созидаются отнынѣ

¹⁾ Ср. проф. Н. И. Петровъ. Слѣды литературныхъ вліяній въ произведеніи Гоголя. Труды Киевск. Дух. Акад. 1902 г. № 4.

Мечтанья тихія души.
Дойдетъ ли звукъ подобно шуму?
Взволнуетъ ли кого-нибудь?
Живую юноши ли душу,
Иль дѣвы пламенную грудь?
Веду съ невольнымъ умиленьемъ
Я пѣсню тихую мою
И съ неразгаданнымъ волненьемъ
Свою Германію пою.
Страна высокихъ помышлений!
Воздушныхъ призраковъ страна!
О, какъ тобою душа полна!
Тебя обнявъ, какъ нѣкій геній,
Великій Гетте бережетъ
И чуднымъ строемъ пѣснопѣній
Свѣаеть облако заботъ.

Имѣя въ виду, очевидно, самого себя, юный поэтъ пишетъ:

Такъ въ заключеныи *школьникъ ждетъ*,
Когда желанный срокъ придетъ,
Лѣта къ концу его ученья;
Онъ полонъ думъ и упоенъ,
Мечты воздушныя ведеть:
Онъ независимый, онъ вольный,
Собою и міромъ всѣмъ довольный.
Но, разставаясь съ семьей
Своихъ товарищѣй, душой
Дѣлилъ съ кѣмъ шалость, трудъ, покой,—
И размышляетъ онъ, и стонетъ,
И съ невыразною тоской
Слезу невольную уронить.

(Соч. Г. ред. Тихонр. V,42—43).

Пріѣздъ Гоголя въ Петербургъ (въ декабрѣ 1828 г.) совпалъ съ тѣмъ періодомъ въ історіи русскаго романтизма, когда русскіе писатели, переживъ увлечение виѣшней стороной западно-европейскаго романтизма, выражавшейся въ протестѣ ложно-классицизму и въ фантастикѣ литературныхъ сюжетовъ, дошли до усвоенія или уясненія самыхъ основъ романтическаго движенія въ области западно-европейской исторіи мысли и литературы, заключавшихся въ принципахъ свободы творчества и въ національности литературы.

Это стремлениe къ уясненю основъ романтической теоріи литератураного творчества проявилось у насъ почти одновременно въ Петербургѣ и, особенно, въ Москвѣ, тамъ же, гдѣ возникло и самое романтическое движениe нашей литературы и жизни (см. мои статьи: О вліяніи В. Л. Пушкина на поэтич. твор. А. С. Пушкина Харьк. 1900 г. стр. 39 слѣд.. Къ исторіи возникнов. Арзамаса. Мирн. Трудъ 1902 г. № 1). Рыльевъ въ Петербургскомъ «Сынѣ Отечества», философскій кружокъ Веневитинова и Одоевского (Москва 1823—1825 г.) въ Москвѣ, имѣвшій своимъ печатнымъ органомъ альманахъ Мнемозину (М. 1824—1825 г.) и Московскій Телеграфъ Полевого ревностно принялись выяснять и популяризировать литературную романтическую теорію, изложенную въ Лекціяхъ В. Шлегеля о драматич. искусствѣ и литературѣ (*Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur*), объявленныхъ Полевымъ за «непремѣнныи кодексъ для каждого писателя, занимающагося литературой» (М. Тел. 1827 г. ч. XIV № 8, стр. 287. Энгельгардтъ, Истор. рус. лит. XIX ст. I, стр. 286).

Подъ вліяніемъ этого движения критической и философской мысли, направленной на сущность, задачи и формы литературной дѣятельности, въ средѣ русскихъ поэтовъ-романтиковъ складываются возвышенные взгляды на «поэта» и на задачи поэтической дѣятельности, а вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпнетъ сознаніе важности и необходимости идеи народности въ русской литературѣ. Эта послѣдняя и становится лозунгомъ литературной, а по томъ и общественной дѣятельности: поэтъ-пророкъ, «небесь избранникъ, божественный посланникъ», «сынъ небесь», «жрецъ Аполлона», поэтическая дѣятельность—«священная жертва» божеству поэзіи, поэтическія произведенія—«молитвы», выраженные въ «сладкихъ звукахъ»; «поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли», «поэзія есть земная сестра небесной религіи» «жизнь и поэзія—одно»; поэтъ долженъ быть «невиненъ какъ голубица, смѣлъ и отваженъ какъ орелъ», долженъ гнушаться «сахарныхъ усть порока, похвалъ и наслажденій, не просить и не братъ наградъ» и только при условіи высшаго нравственнаго совершенства поэта-пророка

И стройные и сладостные звуки
Поднимутся съ гремящихъ струнъ (его),
Въ тѣхъ звукахъ рабъ свои забудетъ муки
И царь Сауль заслушается ихъ.—
И жизню торжественно высокой
Ты процвѣтешь и будешь вѣкъ свѣтло
Твоє открытое чело
И зорко пламенное око.

По этому поводу невольно припоминаются слова законодателя романтизма В. Шлегеля въ курсѣ его лекцій: «Будемъ глубоко сознавать, что всякое умственное стремленіе есть *благочестіе*, что оно можетъ достигнуть успеха только посредствомъ серьезной и искренней любви, что талантъ безъ нравственности всегда достигалъ лишь очень незначительныхъ результатовъ» (Гаймъ, Романтич. школа 688).

Нужда и безработица (Письма I, 117) заставили Гоголя измѣнить свой юношеский трезамъ о трудѣ важномъ, благодѣтельномъ на по-прищѣ юстиції (*Ibid.* 89) и обратить свои упрямыя предназначертанія (90) въ область литературы.

Плодомъ литературныхъ занятій Гоголя за это время были «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», сборникъ романтически-подражательныхъ произведеній, отвѣчавшихъ той стадіи нѣмецкаго и русскаго романтизма, которая выражалась въ изложеніи «странныго, сверхестественного, производящаго на читателя своеобразное чарующее впечатлѣніе» (Гаймъ, Романтич. школа, перев. Невѣдомскаго М. 1891 года, стр. 226) и которая скоро была пережита самими же нѣмецкими нео-романтиками, уступивъ мѣсто болѣе широкому пониманію задачъ романтической литературы, получившихъ свою кодификацію въ теоретическихъ комбинаціяхъ В. Шлегеля.

Литературная дѣятельность Гоголя доставила ему извѣстность, и въ 1831 году мы видимъ его уже въ самомъ средоточіи умственной аристократіи Петербурга. Въ письмѣ къ своему школьному пріятелю Данилевскому, Гоголь сообщалъ отъ 2 ноября 1831 г.: «все лѣто я прожилъ въ Павловскѣ и Царскомъ селѣ... Почти каждый вечеръ собирались мы: Жуковскій, Пушкинъ и я». (Письма I, 196).

Обшеніе съ литературнымъ кругомъ Пушкина имѣло огромное вліяніе на творчество Гоголя и развитіе его поэтическаго дарованія. Въ немъ онъ нашелъ оцѣнку своего таланта и указанія на соотвѣтствующую ему область для поэтическихъ воспроизведеній, нравственную и материальную поддержку и, кроме того, цѣльную, стройную теорію поэтическаго творчества, уяснившую ему таинственная, безсознательныя движенія его поэтической души.

Съ пламенной ревностію «провинціала-мечтателя» тридцатыхъ годовъ Гоголь усвоилъ себѣ очаровательную возвышенную теорію поэтическаго творчества, которая отличала литературные круги русскихъ романтиковъ 20-хъ—30-хъ годовъ. Она соотвѣтствовала его глубокому религіозному чувству, склонности къ мистицизму и аскетизму, близко подходила къ тому романтическому настроенію, которое было подготовлено семьей Гоголя и жизнью въ Нѣжинѣ и которое еще усилилъ онъ въ Петербур-

гѣ благодаря болѣе близкому знакомству съ произведеніями подлинныхъ нѣмецкихъ нео-романтиковъ, какъ напр. Тика (Тихонравовъ, Примѣч. къ т. I П. С соч. Гоголя стр. 526. слѣд.); она приближалась къ его юношескимъ грезамъ о возвышенномъ и прекрасномъ, о любви къ людямъ и служеніи человѣчеству; удовлетворяла, наконецъ, и самолюбію Гоголя, раздражавшемуся въ школѣ, недалеко ушедшему, по своему внутреннему быту отъ бурсы, и развивавшей въ своихъ питомцахъ скрытность, высокомѣріе и неискренность.—Но, въ отличіе отъ многихъ своихъ современниковъ поэтовъ-романтиковъ, поэтовъ-мистиковъ и прозаическихъ мечтателей, Гоголь проникся романтическими воззрѣніями на поэта и поэтическое творчество *всесильо, до искренняю желанія согласовать съ ними свою личную жизнь и свои поступки.* Отсюда мысль о внутреннемъ нравственномъ совершенствованіи, постоянной работѣ надъ собою, надъ своими чувствами, страстями и умомъ, идея возвышенія себя надъ земной жизнью для того, чтобы «писатель» могъ безукоризненно и «добросовѣстно проплыть гимнъ небесной красоты». «И едва ли не со времени первого свиданія нашего, писалъ Гоголь къ Жуковскому въ 1847 г.: искусство стало главнымъ и первымъ въ моей жизни, а все прочее—вторымъ. Мнѣ казалось, что уже не долженъ я связываться никакими другими узами на землю, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина и что словесное поприще есть тоже служба (Бычковъ Неиздан. письма Гоголя къ Жуковскому Рус. В. 1838 г. к. XI, 64)».

Въ исторіи «словеснаго поприща» Гоголя, слѣдовавшаго за Вечерами на хуторѣ и Миргородомъ, естественно, различаются двѣ эпохи, разграничиваемыя появлениемъ въ печати I т. Мертвыхъ Душъ. Эти двѣ эпохи до I т. Мертвыхъ Душъ и послѣ него—исторія двухъ направлений въ творчествѣ Гоголя и въ психологіи великаго писателя, отражающая два направленія въ исторіи русскаго и западно-европейскаго романтизма, типичными представителями которыхъ были у насъ Пушкинъ и Жуковскій.

Пушкинъ—романтикъ въ томъ широкомъ смыслѣ этого слова, въ какомъ романтическіе критики называли романтиками и Данта и Шекспира и Шиллера и Гете. Жуковскій, наоборотъ, по складу своихъ воззрѣній примыкалъ къ нѣмецкимъ нео-романтикамъ. На этомъ пунктѣ, какъ извѣстно, произошелъ теоретический разладъ между нимъ и нашими романтиками-националистами (Пушкинъ, Рыльевъ, Кюхельбекеръ, Бестужевъ Александръ). Рыльевъ находилъ даже, что влияніе Жуковскаго на духъ нашей словесности было «слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которая въ немъ иногда даже прелестны

растлили многихъ и много зла надѣлали» (Сочин. К. О. Рылѣева, изд. 1872, 234).

Въ болѣе широкомъ смыслѣ и основномъ своемъ значеніи романтизмъ являлся синонимомъ національности: «Наша поэзія должна быть національной или въ идеалистическомъ или въ реалистическомъ значеніи», говорилъ В. Шлегель въ своемъ курсѣ (Гаймъ, Романтическая школа, стр. 700). Этотъ взглядъ В. Шлегеля съ особой ревностью популярировался нашими романтиками 20—30-хъ годовъ какъ въ Петербургѣ такъ и въ Москвѣ. «Сила, свобода, вдохновеніе необходимы три условія всякой поэзіи», писалъ Кюхельбекеръ въ статьѣ «О направлениі нашей поэзіи, особенно лирической въ послѣднее десятилѣтіе, напечатанной во II вып. «Мнемозины» (М. 1824 г., стр. 30). «Но что такое поэзія романтическая? Она родилась въ Провансѣ и воспитала Данта, который далъ ей жизнь, силу и смѣлость, отважно свергъ съ себя иго рабскаго подражанія Римлянамъ, которые сами были единственno подражателями грековъ и рѣшился бороться съ ними. Въ послѣствіи въ Европѣ всякую поэзію свободную, народную стали называть романтическою» (Ibid. 35). «Свобода, изобрѣтеніе и новость составляютъ главные преимущества романтической поэзіи передъ такъ называемою классическою позднѣйшихъ европейцевъ» (стр. 39). «Всего лучше имѣть поэзію народную» (40). «Да создастся для славы Россіи поэзія истинно русская; да будетъ святая Русь не только въ гражданскомъ, но и въ нравственномъ мірѣ первою державою во вселенной! Вѣра праотцевъ, нравы отечественные, лѣтописи, пѣсни и сказанія народныя лучшіе, чистѣйшіе, вѣрнѣйшіе источники для нашей словесности. Станемъ надѣяться, что наконецъ наши писатели, изъ коихъ особенно нѣкоторые молодые одарены прямымъ талантомъ, сбросятъ съ себя поносныя цѣпи нѣмецкія и захотятъ быть русскими. Здѣсь особенно имѣю въ виду А. Пушкина, котораго три поэмы, особенно первая, подаютъ великія надежды (42—43). «Надеждой Руси называлъ Пушкина» и А. Бестужевъ въ письмѣ къ Полевому отъ 9 марта 1833 года (В. Богучарский. Семейство Бестужевыхъ. Міръ Божій 1902 г. сент., стр. 277).

Особенной экспансивностью вообще и въ отношеніи къ Пушкину въ частности отличались литературно-теоретическая возрѣнія Рылѣева. Въ статьѣ «Нѣсколько мыслей о поэзіи, напечатанныхъ въ Сынѣ Отечества за 1825 г. № 22 (ч. 104) стр. 145—154, и представлявшихъ въ сущности извлеченіе изъ курса лекцій В. Шлегеля, Рылѣевъ писалъ: «Споръ о романтической и классической поэзіяхъ давно уже занимаетъ всю просвѣщенную Европу, а недавно начался и у насъ..... На самомъ дѣлѣ нѣть ни классической, ни романтической поэзіи, а была, есть и

будетъ одна истинная поэзія, которой правила всегда были и будутъ одни и тѣ же.... Когда явилось нѣсколько такихъ поэтовъ, которые, слѣдя внушенію своего генія, не подражая ни духу ни формамъ древней поэзіи, подарили Европу своимъ оригинальнымъ произведеніямъ, тогда потребовалось классическую поэзію отдать новѣйшей, и нѣмыи назвали сю послѣднюю поэзію романтическою вмѣсто того, чтобы назвать просто новою поэзіею. Данть, Тассъ, Шекспиръ, Аріостъ, Кальдеронъ, Шиллеръ, Гете наименованы романтиками... Такимъ образомъ поэзіею романтическою назвали поэзію оригинальную, самобытную, а въ этомъ смыслѣ Гомеръ, Эсхилъ, Пиндарь словомъ всѣ лучшіе греческіе поэты романтики, равно какъ и превосходнѣйшія произведенія новѣйшихъ поэтовъ, написанныя по всѣмъ правиламъ древнихъ, но предметы коихъ взяты не изъ древней исторіи, суть произведенія романтическія... (Соч. Рылѣева, 227). «Итакъ, заключалъ свою статью Рылѣевъ: будемъ почитать высоко поэзію, а не жрецовъ ея, и оставивъ безполезный споръ о романтизмѣ и классицизмѣ, будемъ стараться уничтожить въ себѣ духъ рабскаго подражанія и, обратясь къ источнику истинной поэзіи, употребимъ всѣ усилия осуществить въ своихъ писаніяхъ идеалы высокихъ чувствъ, мыслей и вѣчныхъ истинъ, всегда близкихъ человѣку и всегда не довольно ему извѣстныхъ» (231).

Прозрѣвая въ Пушкинѣ «геній», силу осуществить въ русской литературѣ романтическія представленія обѣ истинной поэзіи, какъ поэзіи свободной, оригинальной и національной, Рылѣевъ призывалъ Пушкина къ поэтической дѣятельности съ такою же трогательной искренностью и энергией, съ какой въ новое время взвывалъ Тургеневъ къ гр. Л. Н. Толстому: «На тебя устремлены глаза Россіи, тебѣ вѣрять, тебѣ подражаютъ. Будь поэтъ и гражданинъ, писалъ Рылѣевъ Пушкину почти одновременно съ написаніемъ статьи «Нѣсколько мыслей о поэзіи» (Сочин. стр. 235). «Пусть онъ (геній) производитъ все, что внушаетъ ему вдохновеніе... Прощай геній!» (Ibid. 237). За годъ до своей ужасной смерти «смерти позорной» (Ibid. 332) Рылѣевъ писалъ (12 мая 1825 года): «Пушкинъ! Ты пріобрѣлъ уже въ Россіи пальму первенства: одинъ Державинъ только еще борется съ тобою; но еще два, много три года усиливъ и ты опередишь его. Тебя ждетъ завидное поприще: ты можешь быть нашимъ Байрономъ, но, ради Бога, ради Христа, ради твоего любезнаго Магомета, не подражай ему! Твое огромное дарованіе, твоя пылкая душа могутъ вознести тебя до Байрона, оставивъ Пушкинымъ. Если бы ты зналъ, какъ я люблю, какъ цѣню твое дарованіе! Прощай чудотворецъ!» (Ibid 242).

Образъ Рылѣева послужилъ, какъ извѣстно, основаніемъ для стихотворенія Пушкина «Пророкъ», а теоретическіе вопросы творчества, поднятые Рылѣевымъ, Кюхельбекеромъ и болѣе ранними романтиками, отразились съ другой стороны, въ рядѣ соответствующихъ стихотвореній Пушкина, относящихся къ 1827—1831 годамъ: Поэтъ, Чернь и друг. (Сравн. о вліяніи Вас. Львов. Пушкина на поэтическое твор. А. С. Пушкина, стр. 67 слѣд.).

На идеѣ народности литературы сошлись теоретические взгляды Пушкина и Жуковскаго. Подъ ихъ непосредственнымъ вліяніемъ и ранняя влеченія Гоголя къ народнымъ сюжетамъ въ литературѣ, навѣянныя украинскимъ историко-литературнымъ наслѣдствомъ, получаютъ рельефность ясно сознанного принципа литературной дѣятельности; «О если бы ты зналъ», продолжалъ Гоголь вышеприведенное свое письмо къ Данилевскому отъ 2 ноября 1831 года: «сколько прелестей вышло изъ подъ пера сихъ мужей! у Пушкина повѣсть, октавами писанная, въ которой вся Коломна и *Петербургская природа живая*. Кроме того сказки *русскія народныя*,—не то что Русланъ и Людмила по *совершенно русскія*. У Жуковскаго тоже русскія народныя сказки... и чудное дѣло! Жуковскаго узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэтъ, и *уже чисто русскій; ничего германскаго и прежняго*» (Письма I, 196).

Это направленіе мысли и творчества Гоголя отразилось въ созданіи цѣлаго ряда произведеній, на которыхъ зиждется слава этого писателя, успѣвшаго въ «чудномъ стеклѣ» своихъ созданій отразить всю Русь «хотя съ одного боку» (Письма I, 354), «удивительнаго Гоголя, однимъ взглядомъ обнявшаго всѣ классы русскаго общества и достойнаго занять мѣсто на самыхъ вершинахъ европейской литературы» (ст. Мельхіоръ де Вогюэ въ *Revue des deux mondes* 1901 года т. IV стр. 627).

Оставаясь глубоко национальнымъ и вполнѣ самобытнымъ поэтомъ русской дѣятельности, Гоголь въ общихъ формахъ и предѣлахъ литературной дѣятельности не выходитъ, однако, изъ тѣхъ программъ, которые намѣчены были романтической теоріей литературнаго творчества: «наша поэзія, говорилъ Шлегель: должна быть рыцарской или мѣщанской, подобно поэзіи миннезенгеровъ и Ганса Сакса, она должна быть национальной или въ идеалистическомъ или въ реалистическомъ значені...., наша поэзія должна дышать глубокой правдивостью и возвышенными чувствами тѣхъ поэтическихъ произведеній, которые должны считаться за самые первобытные, самые древніе памятники нѣмецкаго духа; если же до сихъ поръ ничто не могло возвыситься до одного съ ними уровня, то, можетъ быть, это суждено сдѣлать будущему (Гаймъ, Романтич. школа 700).

Та свободная форма рассказа, которую избралъ Гоголь для своего творчества и которая особенно ярко выразилась въ эпико-лирическомъ характерѣ «Мертвыхъ Душъ», вполнѣ отвѣтаетъ взглядамъ романтиковъ-теоретиковъ на задачи поэзіи, какъ творчества свободного духа, и на романъ, какъ наиболѣе удобную форму для выраженія разнообразныхъ сторонъ жизни и настроеній писателя: «романтическая поэзія, по словамъ В. Шлегеля, «одна свободна и признаеть за свое главное основаніе правило, что произволъ поэта не выносить никакихъ стѣснительныхъ для него законовъ» (Гаймъ, 230); «произволъ поэта не долженъ стѣсняться никакими законами» (232); «романъ придаетъ свою окраску всей новѣйшей поэзіи» (229); «никакая другая форма не доставляетъ писателю такихъ удобствъ для полнаго выраженія его идей, какъ романъ» (226), «нѣкоторые изъ лучшихъ романовъ представляютъ нѣчто въ родѣ краткаго описанія всей умственной жизни геніального индивидуума» (297); «назначеніе романтической поэзіи заключается не только въ томъ, чтобы соединить въ одно цѣлое всѣ разрозненные виды поэзіи и привести поэзію въ соприкосновеніе съ философіей и съ риторикой; она кромѣ того должна то перемѣшивать, то соединять поэзію съ прозой, геніальность съ критикой, искусственную поэзію съ натуральной; она должна сдѣлать поэзію живою и общительною, а жизнь и общество поэтическими; она должна облекать остроуміе въ поэтическую форму, должна наполнять всѣ формы искусства надлежащимъ содержаніемъ и воодушевлять ихъ юмористическими выходками» (Гаймъ 228).

Мы нарочно привели эти выдержки изъ кодекса В. Шлегеля, представляющія locus classicus романтическихъ понятій о поэзіи. Они должны быть поставлены въ живую и тѣсную связь съ возврѣніями Пушкина на поэзію, поэта и формы поэтической дѣятельности. Какъ известно, Пушкина въ концѣ его жизни стала уже неудовлетворять стихотворная форма рѣчи, его привлекаетъ все болѣе и болѣе свободная, простая и непринужденная форма рассказа (Повѣсти Бѣлкина). Черезъ Пушкина, черезъ русскую журнальную литературу 20—30-хъ годовъ, наконецъ и непосредственно Гоголь могъ имѣть свѣдѣнія о тѣхъ новыхъ теченіяхъ въ области литературной теоріи, которая выражались въ кодексѣ романтической поэзіи, представляемомъ лекціями и статьями Шлегеля, знакомство съ которыми Полевой считалъ обязательнымъ для каждого занимающагося литературою.

Писательскія неудачи, происходившія отъ непониманія и вызванаго имъ враждебнаго отношенія части русского общества къ произведеніямъ Гоголя, глубоко оскорблявшаго его идеализмъ и стремленіе къ принесенію общей пользы, а затѣмъ смерть Пушкина, дополнявшаго недостатокъ активнаго элемента въ характерѣ Гоголя, возбудительно дѣй-

ствовавшаго на его творческия силы и направлявшаго ихъ въ сторону трезваго и положительнаго реализма, повліяли роковымъ образомъ на жизнь и творчество Гоголя. Моральныя и религіозныя задачи художественной дѣятельности, поставленныя романтиками по вліяню Шлейермакера, начинаютъ все болѣе и болѣе занимать Гоголя. И Гоголь въ своей литературной дѣятельности опять начинаетъ склоняться къ тому направленю романтизма, которому онъ служилъ въ началѣ ея, котораго былъ представителемъ у насъ Жуковскій и которое открывало поле для вліянїй религіознаго мистицизма на духъ нашего писателя.

Въ борьбѣ этихъ двухъ направленій романтизма въ душѣ одной личности и заключается трагедія духа нашего великаго писателя. Гоголь не нашелъ выхода изъ столкновенія между идеальными требованіями творчества романтическаго, поставленными ново-романтиками и потребностями своего творческаго генія. Нуженъ былъ иной поэтическій темпераментъ, иной міръ поэтическихъ образовъ и иной уровень образованія для рѣшенія романтическихъ проблемъ литературной дѣятельности, былъ нуженъ, словомъ, геній и темпераментъ гр. Л. Н. Толстого.

Усвоивъ себѣ взглядъ Карамзина, Жуковскаго, Пушкина, что словесное поприще есть тоже служба и стремляясь къ осуществленію завѣтныхъ идеаловъ своихъ «сдѣлать жизнь свою нужною для блага государства» (Письма I, 89), Гоголь начинаетъ работу надъ самимъ собою, надъ личнымъ совершенствованіемъ, руководясь между прочимъ и внушеніями религіозныхъ писателей и мыслителей.

Романтизмъ училъ, что основаніемъ успѣха писателя и залогомъ вліяній его произведеній на общество служить личная нравственность автора; отсюда возникаетъ у Гоголя стремленіе тѣсно связать свои сочиненія съ своимъ духовнымъ образованіемъ, сдѣлать первыя результатомъ «внутренняго сильнаго воспитанія душевнаго, глубокаго воспитанія» (соч. Гоголя, ред. Тихонр. III, 538).—Въ сущности это—крайнее развитіе взгляда романтиковъ, формулированного Шлегелемъ, что всякое умственное стремленіе есть благочестіе (Гаймъ, 688). Роковымъ для таланта Гоголя было лишь признаніе или отысканіе того, что онъ считалъ необходимымъ средствомъ, ближе ведшимъ къ этой цѣли нравственнаго совершенства или благочестія; средствомъ этимъ Гоголь призналъ «уединеніе» «прекрасное далеко» отъ родины, душевный монастырь, «молчаніе», монашество, аскетизмъ (соч. Гоголя, изд. Тихонр. IV, 20). Въ результатахъ этихъ исканій нравственнаго и писательскаго высшаго совершенства и создалась обстановка, погубившая талантъ Гоголя: «писатель комическій, писатель современный, писатель нравовъ», какъ характеризуетъ самъ себя Гоголь, обрекаетъ себя на литературное отшельничество и поэти-

ческій аскетизмъ въ цѣляхъ приближенія къ высшему идеалу творчества, заключавшемуся въ романтическомъ единствѣ жизни, поэзіи и религії. И замѣчательно! внутренно Гоголь временами сознавалъ, что онъ дѣлаетъ насилие надъ своей природой, надъ своимъ геніемъ; но до самыхъ послѣднихъ дней своей жизни, до момента сожженія II т. «Мертвыхъ Душъ» онъ не отдавалъ себѣ отчета въ силѣ и значеніи того рокового, медленнаго истощенія своего поэтическаго богатства, къ которому привело его сознательное отшельничество отъ родины, отъ родной жизни, отъ родной стихіи. Убѣжденія поэта, усилия его ума и воли направляли его духъ, говоря словами А. Майкова, «въ высь», «къ свободѣ безконечной, на исканье правды вѣчной и душевной красоты», а натура поэта, свойства его дарованія тянули его, выражаясь образами Полонскаго, въ самую жизнь, къ людямъ, въ толпу, «въ слякоть жизни». «Непреодолимою цѣпью прикованъ я къ своему, писалъ Гоголь Погодину 30-го марта 1837 г.: и нашъ бѣдный, неяркій міръ, наши курные избы, обнаженные пространства предпочелъ я небесамъ лучшимъ, привѣтливо глядѣвшимъ на меня. И я ли послѣ этого могу не любить своей отчизны» (I, 435). Шевыреву писалъ Гоголь 10 августа 1839 года: «я... странное дѣло, я не могу, я не въ состояніи работать, когда я преданъ уединенію, когда не съ кѣмъ переговорить, когда нѣть у меня между тѣмъ другихъ занятій... Меня всегда дивилъ Пушкинъ, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться въ деревню одному и запереться. Я, наоборотъ, въ деревнѣ никогда ничего не могъ дѣлать и вообще я ничего не могу дѣлать, гдѣ я одинъ и гдѣ я чувствовалъ скуку. Всѣ свои нынѣ печатные грѣхи я писалъ въ Петербургѣ, и именно тогда, когда я былъ занятъ должностю, когда мнѣ было некогда, среди этой живости и перемѣны занятій, и чѣмъ я веселѣе провелъ канунъ, тѣмъ вдохновеннѣй возвращался домой, тѣмъ свѣжѣе было у меня утро» (I, 619—620). И тѣмъ не менѣе Гоголь—писатель *современный*, писатель *нравовъ*,—стремится «отъ всего житейского дрязгу» въ душевный монастырь, находя, что «нѣть удѣла на свѣтѣ выше, какъ званіе монаха» (Тихонр. III, 467, 471), что только въ уединеніи, внѣ родины, въ прекрасномъ далекѣ отъ нея онъ можетъ «вынести внутренное сильное воспитаніе душевное, глубокое воспитаніе (538) «для поднятія труда важнаго, благороднаго на пользу отечества, для счастія гражданъ, для блага жизни подобныхъ» (Письма I, 68).

Пока поэтическая память, область безсознательного храненія образовъ и жизненныхъ впечатлѣній, давала матеріалъ для творчества Гоголя, отшельничество и аскетизмъ помогали тщательности отдѣлки имъ своихъ поэтическихъ произведеній, способствовали возведенію русской реальной

дѣйствительности «въ перль созданія». Но по мѣрѣ того, какъ въ душѣ поэта, «занятаго суровымъ душевнымъ воспитаніемъ» (Тихонр. III, 540 II с. соч. Г.), изсякалъ міръ живыхъ поэтическихъ образовъ, художественная работа для Гоголя дѣлалась труднѣе. Поэтъ приходилъ къ убѣжденію, что онъ, въ своемъ поэтическомъ отшельничествѣ «отсталъ» отъ русской жизни, что онъ не знаетъ Россіи, что многое измѣнилось въ ней съ тѣхъ поръ, какъ онъ въ ней не былъ, что художественную работу надъ Мертвыми Душами нужно начинать сначала: «нынѣ нужно почти сызнова узнавать все то, что есть въ ней теперь (въ 1847 г.), многое нужно видѣть собственными глазами и пощупать собственными руками» (Письма IV, 45). Бодрый духомъ, но слабый тѣломъ поэтъ принялъся за новую работу. Но плоть поэта-аскета была слишкомъ немощна. По его собственному признанію, Гоголь уже не могъ писать такъ, какъ нѣкогда писалъ: «ничто не лилось на бумагу» (II. с. соч. Г. изд. Тихонр. III, 541). Приближалась развязка трагедіи духа великаго писателя. Чувствуя въ себѣ недостатокъ живыхъ поэтическихъ образовъ, и думая восполнить его подвигами молитвы, отшельничества и аскетизма, Гоголь предпринимаетъ путешествіе въ Св. Землю. Пребывая на молитвѣ неустранной, съ четками въ рукахъ, поэтъ-отшельникъ, поэтъ-аскетъ продолжаетъ тяжелую работу надъ II т. Мертвыхъ Душъ. Сомнѣваясь въ силѣ своихъ молитвъ, Гоголь обращается съ просьбой къ тому человѣку, которому «много, много былъ долженъ» (Письма IV, 421) складомъ своихъ поэтическихъ и моральныхъ воззрѣній,—къ Жуковскому, котораго называлъ своимъ «братомъ прекраснымъ» (Письма III, 335), безцѣннымъ другомъ, небеснымъ посланникомъ (Загаринъ, 478): «Сижу по прежнему надъ тѣмъ же, занимаюсь тѣмъ же. Помолись обо мнѣ, чтобы работа моя была истинно добросовѣтна и что бы я сколько нибудь былъ удостоенъ пропеть гимнъ красотѣ небесной» (Тихонр. III. II. с. с. Г. 574). Но работа не спорила; «Дѣло мое идетъ крайне тупо», писалъ поэтъ Аксакову незадолго до смерти, въ 1852 году. Строгій и взыскательный къ содержанію и формѣ литературныхъ произведеній апостольски-благоговѣвшій передъ «словомъ», Гоголь ясно понималъ художественные недочеты въ своей работе, видѣлъ, что, несмотря на всѣ творческія усиленія, онъ далекъ отъ тѣхъ идеаловъ творчества, которые онъ носилъ въ своей душѣ, отъ исполненія «священнаго завѣщенія Пушкина», и въ одинъ изъ припадковъ своей меланхоліи сдѣлалъ то, что давно подсказывала ему художественная, чуткая совѣсть: онъ собственноручно уничтожилъ II т. Мертвыхъ душъ,—послѣдовавъ эпилогъ трагедіи духа великаго писателя, самаго «упорнаго» изъ свѣтлой плеяды русскихъ романтиковъ, замерпавшей первоначального въ «горницахъ московскаго университета», въ са-

момъ концъ XVIII и началъ XIX вѣка¹⁾), ревностнаго искателя рѣшенія грандіознѣйшей задачи искусства, начертанной романтиками:—жизнь отразить въ поэзіи, поэзію земную сдѣлать сестрой небесной религіи и просвѣтить жизнь поэзіей. Смерть Гоголя, послѣдовавшая 21 февраля 1852 года, была насильственнымъ лишь прекращеніемъ упорной работы поэта въ неуклонномъ стремленіи его къ исполненію намѣченной цѣли, «предположеннаго начертанія» (I, 190) осуществить въ поэзіи то, что Шлейермахеръ называлъ полингенезисомъ религіи (Гаймъ, Романтич. школа, стр. 395).

Насколько дальновидны были теоретики романтизма, на сколько жизненна начертанная ими задача творчества показываетъ то, что черезъ 100 лѣтъ литературного развитія къ ней частью вновь возвращается, частью подходитъ европейская литература (ср. Предисловіе гр. Л. Н. Толстого къ роману Фонъ Поленца «Крестьянинъ») и философско-критическая мысль (ср. Гюйо, Искусство съ точки зренія соціологии).

Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ матери Гоголь говоритъ о вѣчно-неумолкаемыхъ желаніяхъ своей души, которая Богъ вдвинулъ въ него, превративъ *его существо въ жажду ненасытимую* бездѣйственнаю разсѣянностью свѣта (Письма I, 124). Какъ искренно и глубоко вѣрно это сказано! «Этотъ удивительный Гоголь», какъ называлъ его Мельхіоръ де Вогюэ, теперь, черезъ 50 лѣтъ послѣ окончанія имъ поэтическаго подвига своей жизни, представляется намъ, по искреннимъ, интимнымъ признаніямъ въ своихъ письмахъ, *именно жаждой ненасытимой: жаждой познанія, жаждой нравственного совершенства, жаждой подвига на благо «отчизны» и счастіе человѣчества; самый «смѣхъ Гоголя, смѣхъ добрый и свѣтлый», смѣхъ сквозь слезы надъ тѣмъ, что позорить красоту человѣка, родился въ немъ отъ «вѣчной», «могучей» любви къ человѣку, есть отраженіе «глубоко-доброй души» поэта* (П. с. соч. изд. Тихонрав. т. II, 352, 514, 516).

Свою литературную дѣятельность въ цѣломъ, въ ея совокупности, самъ Гоголь однажды опредѣлилъ какъ стремленіе поэта—«доказать всему свѣту, что въ русской землѣ все, что ни есть, отъ мала до велика, стремится служить Тому же, Кому все должно служить на землѣ, несется туда же къ верху, къ Верховной Красотѣ» (Соч. Гог. II, 352). Не отражаются ли и въ этихъ словахъ Гоголя мечты романтиковъ, возникшія

1) Объ этомъ смотр. въ моихъ статьяхъ, посвященныхъ вопросу о возникновеніи Арзамаса: О вліяніи Вас. Львов. Пушкина на поэтич. творчество А. С. Пушкина. Харьк. 1900, 39 слѣд. Къ исторіи возникновенія Арзамаса, Мирный Трудъ № 1 стр. 57—59.

подъ вліяніемъ філософії Фихте, о «трансцендентальній поезії», которая должна возвышаться до художественной рефлексіи и до самосозерцанія и явиться самой совершенной формой поезіи—поэзіей поэзіи (Гаймъ, Романтич. школа, стр. 255)?